

Е. К. РОМОДАНОВСКАЯ

Западные сборники и оригинальная русская повесть

(К вопросу о русификации заимствованных сюжетов
в литературе XVII—начала XVIII в.)

Стало традиционным, когда заходит речь об освоении на русской почве западноевропейских повествовательных сюжетов, пришедших к нам с такими сборниками, как «Римские деяния» или «Великое Зерцало», обращаться прежде всего к сходству отдельных мотивов с темами и сюжетами русского фольклора.¹ Древнерусская повесть при этом практически остается в стороне. Лишь постепенно выявляются и публикуются материалы, позволяющие по-новому поставить вопрос о месте переводной литературы и заимствованных сюжетов в оригинальной русской беллетристике. Вопрос о судьбе «мировых сюжетов» в оригинальных русских повестях еще ждет своей разработки.²

Наиболее повезло в этом отношении Повести о Савве Грудцыне. После многочисленных статей, где выявлялись или отрицались параллели этого памятника с теми или иными мировыми мотивами,³ появилась принципиально важная работа Д. С. Лихачева,⁴ где детально прослеживается постепенное вживание в русскую обстановку и русскую литературу «мирового» сюжета о продаже души дьяволу, ведущего свое начало из Византии. Однако некоторые мотивы, не связанные генетически с основным сюжетом, в этой работе оставлены в стороне. В частности, Д. С. Лихачев отмечает такое отличие Повести о Савве Грудцыне от Чуда св. Василия, как появление дьявола в роли слуги, но происхождение этого мотива не рассматривает, ограничившись замечанием: «Дьявол в роли слуги — это мотив, пришедший из каких-то других сюжетов мировой литературы и вылившийся в конце концов в образ Мефистофеля. В

¹ Наиболее значительные работы последнего времени в этой области принадлежат О. А. Державиной: 1) «Великое Зерцало» и его судьба на русской почве. М., 1965, с. 132—143; 2) Задачи изучения переводной повести и драматургии XVII в. — ТОДРЛ, т. XX. М.—Л., 1964, с. 250—255; 3) Фацеции. Переводная новелла в русской литературе XVII века. М., 1962, с. 82—94.

² В данном случае речь идет не о судьбе на русской почве явно переводных «всемирных» повестей, таких как Александрия или Стафанит и Ихнилат, и даже не о русских их переработках и редакциях, а о создании на основе бродячих мотивов собственно русских произведений, которые без всякого сомнения могут быть отнесены к оригинальной русской беллетристике.

³ См. наиболее полный обзор предшествующей литературы: М. О. С к р и п и л ь. Повесть о Савве Грудцыне. — ТОДРЛ, т. II. М.—Л., 1935, с. 181—214; т. III. М.—Л., 1936, с. 99—152.

⁴ Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970, с. 525—536.

русской традиции он впервые появился в. . . Слове и сказании о некоем купце». ⁵

Одна западная параллель мотива «слуга-дьявол», несомненно известная на Руси еще в последней четверти XVII в., уже отмечалась исследователями. Это рассказ «Великого Зеркала» «Како враг дьявол служба некоему честну человеку и како не терпит, идеже приносится молитва», ⁶ иногда в рукописях называемый «О дьяволе, купленном за слугу». Здесь нечистый служит «некоему честному воину», и весь рассказ распадается на три эпизода: спасение воина от разбойников, спасение его большой жены с помощью «львичьего молока» и пожертвование дьяволом заработанных денег на колокола к церкви. Помимо сходного в общем отношении к слуге-бесу (об этом ниже), с «Саввой Грудцыным» можно сопоставлять первый эпизод, очень схожий с выходом Саввы и беса из осажденного Смоленска: и в том, и в другом случае слуга переводит героя через реку, в которой никогда до того не было брода. Схожи между собой даже речи преследователей (разбойников или поляков), сравнивающих беглецов с бесами в человеческом образе. Эта параллель была отмечена ранее П. В. Владимировым и затем О. А. Державиной. ⁷ В свою очередь М. О. Скрипиль полностью отрицал связь мотивов Повести с западными сборниками легенд, в частности с «Великим Зеркалом». Так, по поводу отмеченного рассказа о слуге-дьяволе исследователь замечает, что дьявол в образе человека характерен вообще для древнерусских демонологических представлений и приведенный мотив «принадлежит к той категории мотивов, которые сотни и тысячи раз могут возникнуть в схожих культурно-бытовых условиях». ⁸

Подобное объяснение представляется слишком общим; если оно вполне справедливо для таких параллелей между Повестью и сборниками легенд, как исцеление больного Богородицей, благодатная сила молитвы и т. п., то в данном случае сходство даже мелких сюжетных деталей заставляет предполагать если не прямую связь двух памятников, то наличие общего источника. Естественно, что восприятие чисто западных сюжетов и идей могло быть облегчено благодаря близости отдельных мотивов переводной повести к традиционной древнерусской литературе ⁹ — так и старое демонологическое представление о дьяволе в образе человека должно способствовать его восприятию в роли слуги. Все же здесь имеется существенное отличие. Изображение беса в человеческом облике в древнерусской литературе никак не снимает его отрицательной, «вражеской» сути; недаром он предстает прежде всего в виде мурина или эфиопа — черного человека, сама внешность которого пугает; ¹⁰ облик же разбойника, воина или девицы бес также принимает только во зло христианину. В Повести же и особенно в легенде «Великого Зеркала» слуга-дьявол прежде всего помогает своему подопечному — спасает от преследования, выручает в трудных ситуациях, лишь в конце Повести предъявляя свой страшный счет (а в «Великом Зеркале» воин расплачивается с бесом деньгами, как с обычным слугой; таким образом, мотив потусторонней расплаты человека с дьяволом, характерный для сюжета о до-

⁵ Там же, с. 530.

⁶ О. А. Державина. «Великое Зерцало». . . , с. 230—231.

⁷ П. В. Владимиров. К исследованию о «Великом Зеркале». Казань, 1885, с. 379; О. А. Державина. «Великое Зерцало». . . , с. 99. В последней работе приведены параллельные тексты Повести и легенды из «Великого Зеркала».

⁸ М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне. — ТОДРЛ, т. III, с. 108.

⁹ См. очень интересные наблюдения подобного рода в кн.: А. М. Панченко. Чешско-русские литературные связи XVII века. Л., 1969, с. 120—127.

¹⁰ Ф. А. Рязановский. Демонология в древнерусской литературе. М., 1915, с. 51, 55.

говоре с нечистой силой, здесь полностью отсутствует). Вся эта ситуация вполне соответствует отмеченному еще Ф. И. Буслаевым н о в о м у восприятию и изображению беса, которое, по его словам, «было осложнено у нас в XVII веке более свободным, легким и поэтическим чтением, переходившим с Запада на Русь в повестях Зерцала Великого, Звезды Пресветлой и других занимательных сборников».¹¹

Отношения между «Великим Зерцалом» и Повестью о Савве Грудцыне могут оказаться более глубокими, чем представляется с первого взгляда. Важно обратить внимание на то, что «Великое Зерцало», вобравшее, как известно, большое количество памятников византийской традиции, знает и Чудо св. Василия о прельщенном отроке: П. В. Владимиров указывает статью «Зерцала» «Дьяволу отданный отрок иже его действием внежися на дщери господина своего, по сем покаянием и молитвами св. Василия от руку дьявола исторже и хирограф или рукописание раздра».¹² Близость этой новеллы к Повести отмечает и О. А. Державина.¹³ Такое соединение в одном сборнике рассказов, сходных по основным мотивам с «Саввой Грудцыным», заставляет задуматься о том, не послужило ли именно «Великое Зерцало» толчком для творчества русского автора? Возражение против подобной гипотезы опиралось до сих пор на время перевода латинского сборника (1677 г.), так как Повесть о Савве Грудцыне на основе реалий датировалась серединой 1660-х гг.¹⁴ Однако можно усомниться в достоверности ряда «исторических» указаний Повести,¹⁵ и вопрос о ее датировке до сих пор остается открытым.

Для нас в данном случае неважно, что послужило непосредственным источником «Саввы Грудцына» — «Великое Зерцало» или какой-либо другой памятник. Вне зависимости от своего источника автор Повести чрезвычайно умело соединил более традиционный для Древней Руси византийский сюжет о продаже души дьяволу с западным мотивом службы дьяволу человеку. Благодаря этому бес в Повести делается героем более активным и инициативным. Именно он является двигателем сюжета, и это дает автору возможность более быстрого развития действия и отсюда — более широкого и разностороннего изображения действительности, социальной и частной жизни человека XVII в.,¹⁶ т. е. того, что позволяет называть Повесть о Савве Грудцыне первым русским романом.

Хрестоматийная известность Повести о Савве Грудцыне, естественно, способствовала тому, что сходные мотивы как в переводных, так и в русских повестях были замечены прежде всего. Однако чрезвычайно важно, что отмеченный мотив еще до «Саввы Грудцына» появляется в «Слове и

¹¹ Ф. И. Б у с л а е в. Бес. К истории московских нравов XVII века. СПб., 1881, с. 7.

¹² П. В. В л а д и м и р о в. «Великое Зерцало». Из истории русской переводной литературы XVII в. М., 1884, Прилож. 2, с. 27, № 312. М. О. Скрипиль (Повесть о Савве Грудцыне. — ТОДРЛ, т. III, с. 105) отмечает, что Сказание о Протерии (т. е. Чудо св. Василия) вошло только в польское издание «Великого Зерцала», а в русских текстах заменено отсылкой к Прологу под 2 января. Однако подобная замена встречается, по-видимому, не во всех списках: П. В. Владимиров приводит свой перечень на основании русских рукописей, детально отмечая все расхождения с польским оригиналом, а М. О. Скрипиль дает ссылку лишь на одну рукопись (Погод., 1381), хотя знает и другие списки «Зерцала». Кроме того, принципиального значения сам факт замены в данном случае не имел: подобная отсылка, в глазах образованного книжника XVII в. должна была вызвать еще большее доверие к окружающим ее текстам.

¹³ О. А. Д е р ж а в и н а. «Великое Зерцало». . . , с. 100.

¹⁴ М. О. С к р и п и л ь. Повесть о Савве Грудцыне. — ТОДРЛ, т. III, с. 103.

¹⁵ См.: Д. С. Л и х а ч е в. Человек в литературе Древней Руси. Изд. 2-е. М., 1970, с. 113.

¹⁶ Д. С. Лихачев очень убедительно пишет о «ненужности» всех многочисленных приключений Саввы для первоначального поучительного повествования о невозможности союза с дьяволом (Истоки русской беллетристики, с. 533).

сказании о некоем купце» — повести, где «мировой» сюжет впервые развивается в русской обстановке.¹⁷ «Слово о некоем купце» дошло в единственном позднем и дефектном списке, но это явно промежуточная стадия в процессе постепенного приспособления сюжета к русским условиям.¹⁸ По-видимому, без пристального внимания к памятникам, отразившим подобные промежуточные стадии, мы не сможем разобраться в механизме использования мировых сюжетов в оригинальной русской беллетристике. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на некоторые повести, хоть и введенные в научный оборот, но до сих пор мало изученные.

В 1948 г. М. О. Скрипиль опубликовал неизвестную до того «Повесть о некоем купце Григории, како хоте его жена с чародеем уморити»,¹⁹ сохранившуюся в двух редакциях в списках XVIII—XIX вв. К сожалению, на публикации изучение Повести остановилось. Издатель, указав рукописи со списками Повести, не дал никакого их анализа и комментария к тексту. Задачей будущего остается решение вопроса о происхождении Повести, ее источниках, времени и месте возникновения.

Между тем уже теперь можно указать одну важную параллель к Повести. Это входящий в «Римские деяния» «Приклад о преступлении душевнем и о ранах, уязвляющих души человеческия, иначе называемый «О черно книжнике и рыцаревой жене».²⁰ Сопоставление Повести о купце Григории и Приклада из «Римских деяний» обнаруживает чрезвычайную близость сюжетной схемы двух памятников: в обоих рассказывается о неверной жене, которая уговаривает своего любовника-чародея известить ее мужа (рыцаря или купца); в обоих памятниках черно книжник изготавливает из воска портрет мужа («слия в воску образ подобия Григориева» — «учинил из воску образ и его ж назвал именем того рыцаря») и трижды стреляет по нему из лука. Героя, который в это время находится в Риме (рыцарь) или приближается к нему (купец Григорий), спасает некий «мистр» (в Прикладе) или мудрец (в Повести): он сажает его в «лазию» (Приклад) или чан с водой (Повесть) и дает в руки зеркало, в котором тот видит все, что делается в доме неверной жены. Скрываясь под водой в момент выстрела, герой спасается, а черно книжник погибает от собственной третьей стрелы; любовница закапывает его под супружеской постелью. Вернувшись домой, герой собирает в гости всех родственников жены, рассказывает о ее злодеянии и в доказательство указывает на спрятанный труп. Преступница отведена к судье («поставили ю пред судьею» — Приклад; «отдаша ея суду градскому» — Повесть), который приговаривает ее к жестокой казни.²¹

Как видим, сюжетная схема совпадает до мельчайших деталей. Указанные лексические расхождения (мистр—мудрец, лазия—чан) связаны, по всей видимости, со стремлением автора Повести очистить язык от полонизмов и свидетельствуют о вторичности Повести по сравнению с Прикладом (обратная замена на русской почве абсолютно невозможна). Тем более важно обратить внимание на детали, отличающие Повесть от рассказа в «Римских деяниях».

Прежде всего меняется герой. Если в Прикладе это был благочестивый рыцарь, отправляющийся с паломничеством в Святую землю, то

¹⁷ В. П. Перетц. Из истории старинной русской повести. — Университетские известия (Киев), 1907, № 8, с. 33—36. В. П. Перетц относит создание Слова к XVII в.

¹⁸ Истоки русской беллетристики, с. 526.

¹⁹ М. О. Скрипиль. Неизвестные и малоизвестные русские повести XVII в. — ТОДРЛ. т. VI. М.—Л., 1948, с. 328—332.

²⁰ Римские деяния, вып. I, II. СПб., 1878; вып. I, с. 107—113.

²¹ Вторую редакцию Повести, совершенно иначе рисующую весь обряд колдовства, мы не рассматриваем, так как она сохранилась в небольшом отрывке и сюжетная схема памятника в целом неясна.

в Повести героем делается купец, уезжающий из дома по торговым делам; безымянный герой Приклада в Повести получает имя — Григорий. Несколько меняется место действия: если рыцарь живет в королевстве «можного» короля Титуса, то купец Григорий — «во граде Риме»; в Риме рыцарь оказывается лишь на обратном пути из Святой земли, где и встречается «мистра», — купец Григорий, как уже говорилось, только «приблизился к Риму» в момент встречи. Несколько меняется характеристика жены: если в Прикладе жена рыцаря постоянно склонна к «чужеложству» и сама «добывает» себе в любовники чернокожника, то в Повести жена изменяет мужу «по действию дьяволу», под влиянием «волхвования» чародея. Такая трактовка более традиционна для древнерусской литературы, не находящей иного объяснения для внезапных любовных озарений. О герое-купце мы еще будем говорить, но показательно упоминание Рима как места действия в Повести: оно могло появиться именно под влиянием названия всего сборника (Р и м с к и е деяния) и упоминания Рима в тексте Приклада; однако именно это упоминание, по видимому, заставило автора Повести перенести встречу Григория с мудрецом в римские пригороды. Такие переделки также подтверждают, на мой взгляд, вывод о вторичности Повести по сравнению с Прикладом.

Другие расхождения между памятниками не касаются их сюжетной схемы: разное словесное оформление диалогов (при сходстве содержания), оттенки реакции героя на увиденное в зеркале, отличия в магических действиях мудреца — мистра и т. п., не меняя нашего вывода о генетической связи этих сочинений, лишний раз свидетельствуют о том, что Повесть о купце Григории является не переводом Приклада о рыцаревой жене и чернокожнике, а оригинальным русским сочинением, созданным на тот же сюжет и по-своему рисующим картины на основе заданных заранее элементов повествования.

Как и мотив слуги-дьявола, сюжет о неверной жене и чернокожнике находит свои соответствия в традиционных представлениях древнерусского человека и его художественном творчестве. Так, мотивы колдовства и надругательства над портретом мужа мы встречаем и в других памятниках русской литературы конца XVII — начала XVIII в. Наиболее близок к Повести о купце Григории эпизод Повести о королевиче Валтасаре, где любовник неверной жены королевича заставляет ее бить «по ланитома» изображение мужа «на хартии».²² В основе таких картин несомненно лежали реальные верования древнерусского человека в колдовство и порчу; ничем иным нельзя объяснить, например, деталь тайного наказания послам, едущим в Данию с предложением брачного союза между королевичем Вальдемаром и царевной Ириной Михайловной, где говорится по поводу возможной просьбы о портрете царевны: «У наших великих государей российских того не бывает, чтоб персоны их государских дочерей, для о с т е р е г а н ь я и х г о с у д а р с к о г о з д о р о в ь я, в чужие государства возить, да и в Московском государстве очей государыни царевны, кроме самых ближних бояр, другие бояре и всяких чинов люди не выдают».²³ Возможно, что подобные представления зародились еще в эпоху язычества, но они продолжают жить в 40-х гг. XVII в. в самых высших кругах русского общества как само собой разумеющийся элемент.

Не менее древнюю основу имеет и мотив с тремя стрелами чернокожника, из которых последняя убивает его самого. Сходный эпизод пред-

²² Н. К. Пиксанов. Старорусская повесть. М.—Пг., 1923, с. 88.

²³ С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. V. М., 1961, с. 232 (разрядка моя, — Е. Р.). См. также: Д. Цветаев. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. — ЧОИДР, 1890, кн. 1, с. 479.

ставляет важную часть былины о Иване Годиновиче, где соперник Ивана — царь-идолище Вахрамей — стреляет по заговоренной птице (ворон или голубь), прилетевшей на помощь русскому богатырю, но стрела попадает в самого стрелявшего.²⁴ Мотив этот идет из глубокой древности. Как убедительно показал Б. А. Рыбаков, именно этот сюжет был изображен на серебряной оковке турьего рога, датирующейся IX—X в.,²⁵ следовательно, и фольклорный сюжет насчитывает уже тысячелетнюю давность. До нас дошла запись былины об Иване Годиновиче, сделанная в конце XVII в.,²⁶ и это свидетельствует, по-видимому, не только о самом факте ее существования в данный период, но и об особом интересе к ней как слушателя, так и читателя. В этом письменном тексте сохранился мотив стрелы, поражающей стрелявшего, причем «поганой царь» несет также черты оборотня (ср. с чародеем в Повести о купце Григории): догоняя соперника, «объвертывался он ясным соколом и скоро летел из-за синя моря и к лесу темному, объвернулся он гнедым туром и выходил на поле на чистое, и объвертывался он молодым молодцом».²⁷

Мотив стрелы, поражающей стрелявшего, встречается не только в фольклоре, но и в книжной литературе. Этот мотив, в частности, составляет основу Чуда св. Георгия о сарацинине, стрелявшем в икону святого.²⁸

Как видим, и в Повести о купце Григории сходство отдельных элементов сюжета с традиционными литературными мотивами и представлениями древнерусского человека должно способствовать ее пониманию и освоению на русской почве, но в целом сюжет явно новый для русского читателя: едва ли не впервые тема колдовства и, с другой стороны, доброй магии, выражающейся в действиях мудреца — мистра, предстает главным сюжетоорганизующим моментом, подчиняющим себе все остальные стороны памятника. Внимание читателя захвачено соревнованием двух волшебников — злого («чародея») и доброго («мудреца»). При этом интересно отметить, что здесь совершенно нет темы христианского обличения колдовских действий. Если до сих пор в древнерусской литературе и возникала тема колдовства и волхвования, так только в плане обличения и разоблачения «незаконных чудес» — достаточно вспомнить Прение Петра с Симоном волхвом, разоблачение волхвов Яном Вышатичем в Повести временных лет и т. п., где сверхъестественная сила кудесника объясняется лишь его союзом с бесами и помощью нечистого; в этом плане все подобные памятники примыкают к рассказам о союзе человека с дьяволом и о продаже ему души, которые так подробно рассматривались исследователями при изучении Повести о Савве Грудцыне. В нашей же Повести впервые появляется кудесник — мистр как положительный образ, лицо, спасающее главного героя, при этом он не священник — никаких упоминаний или примет, свидетельствующих о его принадлежности к духовному званию, в тексте нет, как нет и прямых обличений его антипода — чародея-любownika. Оценки — только в самих харак-

²⁴ Былины Печоры и Зимнего берега. (Новые записи). М.—Л., 1961, № 70, 139, 144; там же библиография вариантов (с. 580). Здесь же опубликован особый вариант былины (№ 104), идущий из семьи сказителей Крюковых, где нет мотива гибели соперника от стрелы: первый жених погибает во время боя, причем его бывшая невеста помогает Ивану Годиновичу и повествование заканчивается свадьбой. По мнению А. М. Астаховой, это позднейшая версия, возникшая в процессе забывания искомого смысла сюжета (там же, с. 561).

²⁵ Б. А. Рыбаков. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963, с. 45—47.

²⁶ Былины в записях и пересказах XVII—XVIII веков. Изд. подгот. А. М. Астахова, В. В. Митрофанова, М. О. Скрипиль. М.—Л., 1960, № 43.

²⁷ Там же, с. 196.

²⁸ ГПНТБ, собр. Тихомирова, № 325, л. 120 об.—121 об.

терах и действиях героев. В Прикладе из «Римских деяний» «христианская» тема чуть сильнее: в характеристике рыцаря говорится, что он был «зело набожен», герой уезжает из дома по обету в Святую землю; однако этими упоминаниями все и ограничивается. Русская повесть оказывается еще свободнее от обязательной средневековой оценки волшебства; здесь сказывается та же свобода и легкость в отношении к однозначной прежде теме, что и в восприятии образа беса, о котором мы уже говорили. По-видимому, оба этих явления — одного плана и связаны с новыми качествами литературы XVII в. — ее обмирщением, освобождением от чисто церковных оценок и подчинения.

Говоря о древнерусской повести в связи с вопросом об освоении заимствованных сюжетов, необходимо обратить внимание еще на один памятник рубежа XVII—XVIII вв. — опубликованное О. А. Белобровой Сказание о богатом купце.²⁹ Анализируя сюжетную основу Сказания, размышляя о его истоках и времени появления, О. А. Белоброва сопоставляет его в первую очередь с русскими сказками («О Марке Богатом» и «Царь Соломон»), отметив лишь одну книжную параллель — «Слово о некоем игумене, его же искуси Христос в образе нищего» (Пролог под 18 окт.). Это сопоставление совершенно справедливо, и Христос-нищий в первой части Сказания появляется несомненно под влиянием проложной легенды: в сказках подобный эпизод обычно вторичен и связан с книжными источниками. Однако круг книжных параллелей к повести можно значительно расширить; ими во многом определяется не только завязка Сказания, но и все дальнейшее развитие действия. Правда, полного сюжетного совпадения между Сказанием и каким-либо другим памятником до сих пор не обнаружено, но близкие параллели, несомненно имевшие значение для автора русской повести, легко установить.

Наибольшее совпадение сюжетов обнаруживается между Сказанием о богатом купце и «Прикладом, яко прозрению божию никто же противится может» («О цесаре Конраде и рыцаревом сыне») из «Римских деяний».³⁰ Сходство характеризует только вторую часть Сказания — рассказ о попытках купца избежать предначертанной ему судьбы. В Прикладе полностью отсутствует характерная для Сказания (как и для русских сказок) вступительная часть о изгнании Христа-нищего; место гордого купца здесь занимает «велможный цесарь» Конрад, ночующий в лесной хижине опального рыцаря Леопольдуса, жена которого именно в эту ночь родила сына; во сне Конрад слышит голос, предсказывающий, что «сие первородное» будет ему зятем, и в гнев велит насильно отобрать ребенка у матери и, зарезав, принести его сердце. Посланные «секретары», пожалев младенца, оставляют его в лесу и приносят цесарю заячье сердце. Воспитанный царем, юноша через некоторое время оказывается при дворе цесаря, который угадывает в нем нареченного зятя и посылает к «цесаревой» с письменным приказом убить посла. Юношу спасает посещение костела, где он останавливается отдохнуть, засыпает, а некий «каплан» (священник), прочитав цесарские «листы», «выскребает» их, заменив распоряжение об убийстве повелением женить посланного на цесарской дочери, что и исполняется. Узнав о случившемся, цесарь расспрашивает свидетелей («секретарев», «ксенжеца» и «каплана») и признает, что «прозрению божию ничто же может противиться».

Как видим, все основные элементы сюжета связывают Сказание о богатом купце с Прикладом о цесаре Конраде и рыцаревом сыне: предска-

²⁹ О. А. Белоброва. Сказание о богатом купце. — ТОДРЛ, т. XXI. М.—Л., 1965, с. 259—265.

³⁰ Римские деяния, вып. II, с. 324—328.

зание о рождении будущего зятя;³¹ приказание зарезать младенца и замена сердца ребенка сердцем зайца (в Сказании — щенка); посещение церкви, которое спасает юношу. Ни один из этих эпизодов (за исключением предсказания, которое играет главную сюжетобразующую роль), как отмечает О. А. Белоброва, не встречается в русских сказках³² — тем показательнее совпадение всех главных элементов сюжета в Прикладе со Сказанием о богатом купце. Расхождения двух памятников вполне объяснимы социальным положением героев: могущественному цесарю совсем не обязательно покупать ребенка, что вынужден делать купец, — цесарь забирает его насильно; также невозможна и гибель цесаря в угольной яме; замена детского сердца заячьим связана с тем, что эта сцена в Прикладе происходит на цесарской охоте, а не во дворе некоей обители, как в Сказании.

Посещение юношей костела в Прикладе несколько отлично от подобного эпизода в Сказании о богатом купце: если в Сказании посланный заходит в церковь ради литургии, то в Прикладе он случайно останавливается около костела отдохнуть. Однако сходный эпизод читается в других книжных легендах, и именно они могли в данном случае повлиять на создание русского Сказания; так, в «Великом Зерцале» читается рассказ «Преподобная Богородица раба своего, иже божественную литургию с радостью послушаше, от огня избави и на носящаго же зло обрати», где разгневанный царь также посылает юношу с поручением в место, где того должны бросить в раскаленную печь; юноша по дороге встречает часовню и заходит помолиться, а в печь попадает посланный для проверки исполнения слуга-доносчик.³³ Сходная ситуация изображается и в статье Пролога под 30 апреля «Слово, еже не достоин ити от церкви, егда поют». Однако если «Великое Зерцало» и проложное «Слово» приближается к нашему Сказанию лишь в одном эпизоде, то Приклад из «Римских деяний» дает всю основную схему сюжета, несколько переработанную в Сказании в соответствии со вкусами русского автора и читателя. Несомненно, что как на выбор сюжета, так и на его обработку автором Сказания большое влияние оказал русский Пролог — свидетельством этого являются обе обнаруженные параллели — как эпизод со спасением юноши из огня, так и образ Христа-нищего, отмеченный О. А. Белобровой. Русский автор Сказания, как и автор Повести о Савве Грудцыне, соединяет два сюжета, давно известных и традиционных для древнерусской литературы, но основой для их объединения служит сюжетная схема типа Приклада о цесаре Конраде и рыцаревом сыне.³⁴

³¹ В Прикладе нет темы оскорбления Христа, за что наказан купец Бендер, но зятем Конрада назначен сын несправедливо обиженного цесарем и нищего тогда рыцаря, так что мотив наказания и здесь присутствует.

³² О. А. Белоброва. Сказание о богатом купце, с. 262. Замена сердца младенца сердцем щенка, как и в Сказании, отмечена в сказке о Соломоне; однако это единственное совпадение между данной сказкой и Сказанием; в сказках о Марке Богатом, ближе передающих всю сюжетную линию повествования, ребенка, как правило, пытаются погубить иначе: бросают зимой в сугроб, в глубокий овраг, в море, откуда он чудесно спасается.

³³ П. В. Владимиров. «Великое Зерцало», с. 27—28.

³⁴ Не является ли косвенным доказательством близости Сказания о богатом купце к кругу памятников из «Римских Деяний» то, что в рукописи оно соседствует и имеет смысловые совпадения с Повестью о папе Григории? См.: О. А. Белоброва. Сказание о богатом купце, с. 263. Повесть о папе Григории (под заглавием «Сказание о царском платье») в данном списке представляет особую редакцию, отражающую, по словам Н. К. Гудзия, стремление «оправославить» католическую в основе повесть — см.: Н. К. Гудзий. Новые редакции повести о папе Григории. — ТОДРЛ, т. XV. М.—Л., 1958, с. 180. Некоторые приемы создания этой особой редакции совпадают с методами автора Сказания о богатом купце.

Сам факт контаминации разных, долгое время существовавших отдельно сюжетов свидетельствует, вне всякого сомнения, об индивидуальной авторской переработке их, о создании нового произведения на основе давно известных «мотивов» и сюжетной схемы переводного памятника.

Сходство Сказания о богатом купце с книжными памятниками позволяет, по-видимому, несколько иначе рассматривать вопрос о генезисе повести. О. А. Белоброва пишет, что Сказание создано на рубеже XVII и XVIII вв. «в традициях русской народной сказки и демократической повести петровской поры», и видит в ней пример «обращения „книжной“ литературы к устному народному творчеству».³⁵ Однако возможно и другое. Не отрицая демократического характера Сказания, нельзя ли предположить, что оно сыграло роль своеобразного промежуточного этапа между переводной повестью и ее фольклорным устным переложением? В таком случае не Сказание создавалось на основе русских сказок, а сказки типа «Марка Богатого» имели своим источником книжную повесть.³⁶ В пользу последнего предположения, на мой взгляд, говорит сам христианско-легендарный характер сказки «О Марке Богатом», устойчивая схема данного сказочного сюжета, тяготеющая к типу Сказания о богатом купце. Однако это предположение в настоящий момент надо считать лишь чисто рабочей гипотезой, поскольку окончательно решить этот вопрос, как и вопрос о взаимоотношении русского Сказания и переводной повести, невозможно без привлечения всех сходных памятников и специальной текстологической работы.³⁷

Все рассмотренные произведения оригинальной русской беллетристики (Слово и сказание о некоем купце и Повесть о Савве Грудцыне, Повесть о купце Григории, Сказание о богатом купце) оказываются в той или иной мере связаны с сюжетами переводных повестей, входящих в западноевропейские сборники легенд и «прикладов». Таким образом, сходные сюжеты разрабатываются как в переводной, так и в оригинальной русской беллетристике, и немногие привлеченные выше памятники дают возможность уже теперь заметить некоторые закономерности в приемах авторов и редакторов, стремящихся приспособить заимствованный сюжет к русским условиям. Изменения касаются в первую очередь имен (личных и географических) и самое главное социального лица героя.

При замене личных имен исключаются имена, воспринимаемые как чужие, иностранные; это в равной мере относится к именам западным — Конрад, Леопольдус, Генрик (Приклад о цесаре Конраде и рыцаревом

³⁵ О. А. Белоброва. Сказание о богатом купце, с. 263.

³⁶ Интересно отметить, что некоторые детали Приклада ближе к сказке, чем к Сказанию: волшебное изменение письма, которое по-прежнему имеет вид написанного рукой кесаря и «печатано печатью кесаревою», находит прямое соответствие в сказках, где встреченный юношей таинственный старец (иногда прямо говорится, что «го был сам Христос») только подержал письмо в руках (или переброял с руки на руку, подул и т. п.), чтобы содержание его изменилось. — См.: А. Н. Афанасьев: 1) Народные русские легенды. М., 1859, с. XXVIII; 2) Народные русские сказки в трех томах, т. 2. М., 1957, с. 441, 445.

³⁷ Круг памятников со сходным сюжетом, вероятно, гораздо шире отмеченных выше; так, В. И. Малышев в одном из усть-дилемских сборников отмечает «Повесть о некоем богатом, как неизменяемы судьбы божия», поясняя ее содержание: «Повесть о купце, пренебрегавшем нищелюбием и хотевшем зятя своего в солеварном котле сварить, но вместо него туда угодившем» (В. И. Малышев. Усть-дилемские рукописные сборники XVI—XX вв. Сыктывкар, 1960, с. 120); отсылка к работе П. В. Владимирова «Великое Зерцало» (прилож. 3, № 56), данная В. И. Малышевым, в данном случае ошибочна, так как под этим номером у Владимирова указан совсем другой рассказ, сходный только по заглавию — «О погибели некоего богача, ему же никое зло в житии сем прилучися» (см. издание текста: О. А. Державина. «Великое Зерцало...», с. 235).

сыне) — и греческим: Еладие (Чудо о прельщенном отроке). Причины замены понятны: имена Приклада не характерны для православного круга, своим звучанием они напоминают о католическом происхождении и западной окраске повести. С другой стороны, имя Еладие — православное, Житие Елладия читается в Великих Минеях-Четиих под 28 мая, а под 7 и 8 января там же помещено Житие Феофила дьякона и Елладия. Однако жития эти, как и святые, чисто греческие, русских святых с таким именем нет, и поэтому здесь также, для приближения к русской действительности, необходимо изменить имя героя.³⁸ Заменяются имена также двойко: появляются или чисто фантастические имена, не известные православным святым, — Бендер, Фивран в Сказании о богатом купце (возможно, на фантастичность имен оказала влияние четкая ощущаемая не только в Сказании, но и в Прикладе стихия народной сказки),³⁹ или же — второй путь — вводятся имена также византийско-православные, однако принятые на Руси: Феодосий, Иоанн (Слово и сказание о некоем купце), Григорий (Повесть о купце Григории). Таким путем создается если не русификация, то нейтральность имени героя, его «всесветность» и независимость от привязанности к определенному реальному месту.

То же происходит и с географическими приурочениями места действия. Внешне конкретная привязанность прикладов из «Римских деяний» к тому или иному королевству («некоторый град» в королевстве цесаря Конрада — «О цесаре Конраде и рыцаревом сыне», королевство короля Титуса — «О чернокнижнике и рыцаревой жене») в русских повестях заменяется именами «вечных» и великих городов мира — Рима (Повесть о купце Григории), Вавилона (Сказание о богатом купце), наравне с которыми называется фантастический город Фантифон (Сказание о богатом купце). Именно последнее соединение в одном ряду реального и фантастического города разрушает конкретность географических указаний и показывает их чисто внешнюю, «орнаментальную» роль в беллетристических памятниках. Такую роль играет и указание на Царьград (вместо Рима) в особой редакции Повести о папе Григории, и на Новгород в Слове и сказании о некоем купце, но здесь проступает и определенное стремление «оправославить» сюжет («Папа Григорий»)⁴⁰ или перенести его в русскую обстановку («Некий купец»). В целом же подобные указания — сама система выбора «вечных» городов — должны свидетельствовать о «всеобщности», «всемирности» данного сюжета, что вполне соответствует интернациональности сюжетов средневековой беллетристики.

Наконец, чрезвычайно важная черта — изменение социального облика героя. Бросается в глаза, что во всех привлеченных переводных повестях речь идет о рыцарях (в легенде «Великого Зеркала» о слуге-дьяволе говорится как о «некоем воине честном», что не противоречит общему наблюдению), в то время как во всех оригинальных русских повестях на те же сюжеты герои — купцы. Д. С. Лихачев писал об особенном значении «купеческих» повестей в развитии древнерусской беллетристики;⁴¹

³⁸ Изменение имени героя, естественно, необходимо автору и для подчеркивания самостоятельности, независимости создаваемого текста от всех предшествующих; это явление характерно для переделок всех времен, но для нас в данном случае важно выявить возможные закономерности в системе подобных замен.

³⁹ Фольклорные параллели к сюжету о гибели злодея вместо безвинного героя отмечаются уже в древнеиндийских сборниках типа Панчатантры, Сомадэвы и т. п.

⁴⁰ См.: Н. К. Гудзий. Новые редакции повести о папе Григории, с. 180.

⁴¹ Д. С. Лихачев. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973, с. 160; Истоки русской беллетристики, с. 526—528.

четко наблюдаемая замена «рыцарь—купец» показывает, что введение последнего героя было принципиальным явлением, не случайностью, а единственной возможностью создать действующее лицо, чьи необычайные приключения в заморских странах, длительные путешествия, встречи с новыми людьми и вынужденные разлуки с женой находят реальное объяснение в особенностях профессии и образа жизни. В западноевропейской литературе такую роль в первую очередь играли рыцари с их крестовыми походами, паломничествами в Святую землю и посещениями рыцарских турниров; в древнерусской литературе эту роль стали играть купцы⁴² — и объясняется она не только литературным этикетом, которому подчиняется повествование об «официальных» героях — церковных или военных деятелях,⁴³ но и положением каждой из этих социальных групп в реальной жизни. Только после петровских преобразований, когда фигура путешествующего в дальних странах дворянина или «офицера» делается привычным явлением, она заменяет купца в оригинальной русской авантурной повести.

⁴² Подобную роль могли бы играть и послы, но они такого положения в древнерусской литературе не заняли: помимо Сказания о Вавилонском царстве, я не знаю повестей, героем которых был бы посол. Вымышленные же статейные списки, появляющиеся в XVII в., представляют особый тип повествования, далекий от привлеченных здесь памятников.

⁴³ Истоки русской беллетристики, с. 527.